

**Владимир Кожедеев**



**Гарденин и зеркала**

Владимир Кожедеев  
**Гарденин и зеркала**

«Автор»

2026

## **Кожедеев В.**

Гарденин и зеркала / В. Кожедеев — «Автор», 2026

Декабрь 1888 года. Петербург задыхается в тумане и снегу, а по городу ползут слухи о странных смертях. Архитектор барон фон Клейст найден мёртвым в своём кабинете с визиткой профессора Сомова в руке. Следователь Алексей Гарденин, больной чахоткой, измученный бессонницей и потерявший веру в людей, берётся за дело, которое разрушит всё, что он знал о реальности. Гарденин узнаёт, что Сомов и Клейст создали систему зеркал, способных записывать человеческое сознание на стекло. Они искали бессмертие, но нашли проклятие: отражения ожили, начали жить своей жизнью и жаждут занять место своих оригиналов. Клейст мёртв. Сомов застрелился. Но чем глубже он погружается в это расследование, тем меньше понимает: кто он — сыщик, ищущий правду, или просто очередное отражение, которое забыло, что оно — всего лишь тень? И когда на его пути появляется Анна Сомова, сестра покойного профессора, Гарденин понимает, что они не просто союзники — они два зеркала, отражающие друг друга, и их судьбы связаны

© Кожедеев В., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

Глава 1. Стекланный человек	5
Глава 2. Ссора в участке	11
Глава 3. Бездна смотрит в тебя	14
Глава 4. Анатомия отражения	18
Глава 5. Вода и стекло	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

# Владимир Кожедеев

## Гарденин и зеркала

### Глава 1. Стекланный человек

В десять часов утра петербургское зимнее солнце — бледное, бескровное, похожее на доньшко разбитой рюмки, оставленной на ночном столике после бессонницы, — только начинает просачиваться сквозь заиндевевшие окна кабинета на Морской. Оно не столько освещает, сколько обозначает присутствие дня, бессильное и формальное, как явка в полицейском участке. Свет ложится на стол косыми, дрожащими прямоугольниками, выхватывая из полумрака стопки бумаг, чернильницу с засохшими потеками и руки Гарденина — длинные, узкие, с синими прожилками, которые особенно заметны по утрам. Руки эти, когда-то твердые и уверенные, теперь похожи на чертежи мостов: в них еще есть структура, но материал устал.

Алексей Петрович Гарденин сидит в кожаном кресле с продавленной спинкой, пьет остывший кофе — горький, с кислинкой, которая раздражает и без того воспаленное горло, — и читает рапорт. Читает медленно, потому что пальцы плохо слушаются по утрам: сказывается чахотка, которая подбирается к нему уже третий год, незаметно, как вор, как тот самый петербургский туман, что проникает в щели оконных рам и оседает на легких холодной, липкой влагой. Он уже не кашляет по утрам — кашель перешел в то глухое, пульсирующее томление в груди, когда каждый вдох кажется последним, но ты все равно дышишь, потому что привычка к жизни оказалась сильнее угасающего тела.

Он перечитывает описание позы покойного трижды. Правая рука вытянута вперед, пальцы растопырены, почти касаются стеклянной стены кабинета барона; левая заломлена за спину, кисть неестественно вывернута, как будто кто-то пытался зафиксировать ее в этом положении уже после смерти. Это не поза падения — это поза бегства. Бегства от того, кто шел сзади. Клейст не падал, когда сердце остановилось — он убежал и упал уже мертвым. Или почти мертвым. Гарденин знает, как выглядят люди, умершие от страха: они валяются вперед, грудью вниз, закрывая руками лицо или голову, пытаются заслониться от невыносимого. Они не вытягивают руку к Спасителю, они прикрываются от ужаса. Но Клейст руку вытянул — не защищаясь, а словно умоляя. Значит, он не закрывался, он просил — у того, кто был перед ним. Но тот, кто стоял перед ним, не был Спасителем. Иначе зачем в мертвой, уже застывающей руке — судорожно сжатые пальцы, в которые вплелась визитная карточка Сомова? Небрежно, как закладка в книге, которую не дочитали.

Гарденин откладывает рапорт и смотрит в окно. За стеклом — Невский, занесенный снегом, с редкими прохожими, закутанными в шубы и шинели до бровей, похожими на движущиеся тумбы. Городовой на перекрестке бьет себя рукавицей по груди крест-накрест, чтобы согреться — ритмично, отчаянно, словно выбивает дробь на собственном теле. Дым из труб поднимается вертикально, без единого дуновения; воздух стоит такой плотный и неподвижный, что город задыхается в собственном дыхании. Небо давит на Петербург, как крышка на гроб — низкое, свинцовое, без просвета, и кажется, что, если прислушаться, можно услышать, как скребется по этой крышке что-то изнутри. Гарденин знает этот звук — он слышит его каждую ночь, когда кашель пробивает сон и он лежит с открытыми глазами, глядя в темноту. Это звук собственного нутра, которое отказывается служить.

Он знает Сомова понаслышке. Профессор-археолог, член девяти ученых обществ, автор монографий о скифских курганах и византийских мозаиках, из которых никто не читал ничего, кроме названий. И при этом — человек с репутацией чудака, который водит дружбу с масонами, спиритами и прочими темными личностями, собирающимися по задним комнатам

ресторанов и шепчущимися о порогах между мирами. Гарденин не любит таких. Не потому, что он религиозен — напротив, он давно утратил веру, как утрачивают старую одежду, которая уже не греет, — а потому, что люди, играющие с потусторонним, всегда оставляют за собой трупы. Он видел это четырнадцать лет назад, когда расследовал самоубийство графа Вронского, который застрелился в собственной библиотеке после сеанса спиритизма, утверждая, что его жена из ада требует его к себе и что она уже пробила дверь. Тогда Гарденин был моложе, ноги не болели, и он верил в психиатрию, в прогресс, в то, что любую тьму можно рассеять электричеством. Теперь он верит только в факты: в пулевые отверстия, в отпечатки пальцев, в микроскопические волокна ткани, застрявшие под ногтями убитого. И в то, что страх — это химия: адреналин, кортизол, сбой в синапсах, ничего метафизического. Иначе — иначе пришлось бы признать, что та ночь в библиотеке Вронского была не просто нервным срывом, а чем-то настоящим, и тогда мир стал бы слишком тесным, слишком проницаемым.

Он одевается долго, с трудом застегивая пуговицы сюртука — пальцы дрожат мелкой, противной дрожью, которая не проходит даже после горячего чая. Он затягивает шарф до самого подбородка, надевает перчатки — старые, с протертыми пальцами, — и выходит на улицу. Ветер бьет в лицо мокрой, ледяной тряпкой, и Гарденин на мгновение зажмуривается, чувствуя, как колючий снег забивается в глаза, в ресницы, в самые уголки век. Он идет пешком до Мойки — извозчики берут тройную цену в такой мороз, и он, сунув руки в карманы шинели, думает о том, что жалованье у него скудное, а сил на споры с седоками уже не осталось. По пути он замечает детали, которые запоминает автоматически — привычка, вьедшаяся в кожу, как татуировка: следы на свежевыпавшем снегу — мужские, широкие, с явным срывом каблука, будто кто-то споткнулся у водосточной трубы; сломанная трость с серебряным набалдашником, валяющаяся в сугробе, — брошенная или выпавшая из руки; замерзшая лужа, в которой отражается небо — серое, безнадежное, без единого проблеска, как он сам. Гарденин смотрит на это отражение и на мгновение задерживается: там, в луже, его лицо кажется чужим, размытым, с запавшими глазами, и ему кажется, что оно ухмыляется. Он встряхивает головой — всего лишь игра света, отражение облаков, а не лицо.

Дом Сомова на Мойке — старый, облупленный, с фасадом, который когда-то был светло-желтым, а теперь выцвел до цвета больничных стен. Парадная пахнет кислой капустой, сыростью и мышами — тот специфический запах петербургских доходных домов, где за каждой дверью своя драма, своя нищета, своя тайна. Гарденин поднимается на третий этаж по скрипучей лестнице, перила которой шатаются под его тяжестью; ступени покрыты пятнами, похожими на высохшую кровь, но он знает, что это просто краска, просто следы времени, ничего больше. Звонит в дверь с медной ручкой, которую кто-то давно не чистил — она покрыта зеленоватым налетом, как старинная монета из раскопок Сомова. Дверь открывает камердинер — старик с лицом, похожим на печеное яблоко, в черном фраке до колен, с иголки, но выцветшем на локтях. В его глазах — серая, прозрачная влажность, как у человека, который много видел и перестал удивляться.

— Профессор Сомов дома? — спрашивает Гарденин, показывая служебное удостоверение. Бумажка в руке дрожит, и старик смотрит сначала на удостоверение, потом на дрожащие пальцы, потом в глаза Гарденину — с легким, едва заметным сочувствием.

— Изволят быть в кабинете, — отвечает камердинер с заметным немецким акцентом, растягивая гласные. — Но предупреждаю: барин не в духе. У него сегодня был неприятный разговор с бароном фон Клейстом. Покойным, как я понимаю.

Гарденин внимательно смотрит на старика. Взгляд его цепляется за каждую деталь: фрак чист, но на лацкане — темное пятно, похожее на воск, и тонкая нить, прилипшая к пуговице. Слуга небрежен в мелочах, хотя старается держать осанку.

— Вы знаете о смерти барона? — переспрашивает Гарденин, чуть подаваясь вперед.

— Весь дом знает, господин следователь. Городовые не умеют говорить тихо, а у нас стены тонкие, бумажные. — Старик разводит руками, и жест этот, кажется, Гарденину театральным, как у старого актера, который играет роль слуги уже сорок лет. — А барин с утра заперся и никого не принимает. Но вас, я думаю, примет. Он ждал вас.

— Ждал? — Гарденин хмурится, чувствуя, как холодок пробегает по позвоночнику, независимо от его воли. — Откуда он знал, что я приду? Я еще и рапорт до конца не дочитал.

Старик пожимает плечами — плавно, с достоинством, будто его плечи участвовали в похоронах многих важных персон.

— Профессор всегда знает, кто придет. Он видит дальше, чем другие. Это его дар, господин следователь, — и он говорит это без тени иронии, с убежденностью человека, который привык не сомневаться в своем барине.

Гарденин проходит в прихожую, снимает шинель — медленно, потому что руки трясутся, и вешает ее на крючок, который почему-то прибит ниже обычного, на уровне его плеча. Он оглядывается. Прихожая заставлена вещами, которые могли бы украсить любой музей: два старинных кресла с выцветшей парчой, продавленные и пахнущие пылью; столик из карельской березы с инкрустацией, где в резных завитках прячутся лица — кажется, что они смотрят на него из дерева; на стенах — гравюры с видами античных храмов: Парфенон, Колизей, какой-то акведук, — и все это в сумрачном, желтоватом свете керосиновой лампы, которая стоит на комод. В углу — большое зеркало в тяжелой черной раме, настолько темной, что она почти сливается со стеной. Рама эта украшена резьбой, но не растительной, а геометрической — зигзаги, треугольники, двойные спирали, похожие на те, что Гарденин видел в учебниках по археологии. Зеркало, такое же, как у Клейста? Он подходит к нему, не отдавая себе отчета в движении, и смотрит на свое отражение. Лицо бледное, землистое, с темными тенями под глазами, с провалившимися щеками, которые придают ему вид человека, уже отмеченного смертью. Он смотрит, и отражение смотрит на него с секундной задержкой — как будто оно думает, прежде чем повторить его жест. Гарденин поднимает правую руку, и отражение делает то же самое, но не сразу: пауза в пол удара пульса, неуловимая, почти незаметная, но он ее чувствует — как чувствуют фальшивую ноту в тишине.

Странно, думает Гарденин, отступая от зеркала на шаг. Обычно зеркала не задумываются. Он почти слышит, как внутри него скребется то самое чувство, которое он привык называть профессиональной интуицией, но которое сейчас отдает страхом. Старый, забытый страх, который он не испытывал со времен Вронского.

Камердинер открывает дверь в кабинет, и Гарденин входит. Комната большая, с высокими потолками и лепниной, которая местами облупилась, открывая штукатурку — она похожа на обнажившиеся кости. Стены заставлены шкафами с застекленными витринами, и там, на бархатных подложках, лежат монеты с профилями императоров, глиняные черепки с письменами, ассирийские печати с крылатыми быками, бронзовые наконечники стрел — целая коллекция времени, которое Сомов выкопал из земли и принес в этот кабинет, как трофеи. В центре — стол красного дерева, массивный, почти алтарный, заваленный раскрытыми книгами, листами кальки с какими-то чертежами и стопками писем, перевязанных бечевкой. И кресло, в котором сидит профессор Сомов. Он не встает при входе, только смотрит на Гарденина поверх очков с толстыми, увеличивающими стеклами, отчего его глаза кажутся огромными, выпуклыми, похожими на глаза глубоководной рыбы.

— Алексей Петрович, — говорит он, и голос его звенит, как старый колокол, в который ударили слишком рано утром. — Я знал, что вы придете. Я знал, что Эдуард умрет. Я даже знал, как он умрет. Но я не знал, что вы будете тем, кто придет меня допрашивать. — Он делает паузу, облизывает губы тонким, быстрым языком, и добавляет: — И это меняет всё.

Гарденин садится напротив, не дожидаясь приглашения, кладет на стол свою папку с бумагами. Бумаги шуршат, и ему кажется, что в тишине кабинета этот звук слишком громок.

Он смотрит на Сомова и видит перед собой не безумца — он видел безумцев, их глаза стеклянные, их слова текут, как вода, — а человека с холодным, ясным взглядом, который никуда не ускользает. Сомов смотрит прямо, твердо, как смотрят только те, кто уверен в своей правоте.

— Вы знали, что он умрет? — переспрашивает Гарденин, и в голосе его — холодный металл, который он натренировал годами допросов. — И вы не попытались его остановить? Вы не позвали врача? Вы не вызвали городского?

— Как можно остановить того, кто уже перестал быть собой? — Сомов вздыхает, снимает очки и трет переносицу, оставляя на ней красные пятна. — Барон фон Клейст, господин следователь, был не просто архитектором. Он был гениальным архитектором, одним из тех, кто появляется раз в столетие. Он строил здания, в которых стены помнили живых людей, как помнят их комнаты после долгого житья. Он создавал пространства, которые дышали, — и я не метафора, я говорю о буквальном: в его домах воздух двигался иначе, свет падал иначе, даже время текло по-другому. И он нашел способ запечатлеть в стекле не только образ, но и суть. Мы вместе работали над этим, господин следователь, больше двух лет. Двенадцать часов в день, семь дней в неделю, и ни одного выходного, потому что мы чувствовали, что стоим на пороге.

— Вы вместе работали над зеркалами? — Гарденин наклоняется вперед, и локти его упираются в стол, в стопку бумаг, которые пахнут плесенью и старым клеем. — Что за зеркала? Где они? И почему при вас в кабинете, — он кивает на стену, где висит овальное зеркало в простой деревянной раме, — висит обычное, а не то, о котором вы говорите?

Сомов улыбается — странно, с примесью гордости, боли и еще чего-то, что Гарденин не может определить: то ли жалости к себе, то ли торжества.

— Не зеркала, господин следователь. Окна. — Он поднимает палец, и жест его торжественен. — Окна в другую реальность. Только не в ту, где Бог, и не в ту, где дьявол. В ту, где мы — но не те, кто мы есть. В ту, где наша тень становится нами, а мы — тенями. Мы с Эдуардом создали три таких окна. Одно в моей мастерской на Васильевском, одно — в его кабинете, где он и умер, и одно у княгини Трубецкой, которая согласилась быть нашей покровительницей, хотя, признаюсь, она не до конца понимала, что мы делаем. И мы смотрели в них. Каждый день. Чтобы увидеть себя настоящих.

— И что вы там увидели? — Гарденин почти не дышит. В груди снова начинает ныть, тупым, глубоким толчком, и он подавляет кашель, сглатывая горькую слюну.

— Увидели, что настоящие мы — мертвы. А живут только наши отражения, — Сомов смотрит прямо в глаза Гарденину, и в его взгляде — такая глубина, такая безнадежность, что у сыщика мороз пробегает по коже, несмотря на тепло кабинета. — Мы обнаружили, что, смотря слишком долго и слишком пристально, мы перестаем быть хозяевами своего образа. Отражение начинает жить своей жизнью. Оно учится говорить, двигаться, думать — вначале повторяя нас, потом внося поправки, потом переставая ждать наших движений. А мы — мы становимся пустыми. Как выеденные яйца, господин следователь, — скорлупа, которая помнит форму, но внутри — только воздух. Эдуард испугался раньше меня. Он всегда был слабее, хотя внешне казался твердым, как гранит. Он сказал мне: «Я хочу уничтожить все три окна». Я сказал: «Ты не можешь. Они — часть нас. Если ты уничтожишь их, ты уничтожишь себя. И меня заодно». — Сомов проводит рукой по столу, смахивая невидимую пыль. — Он не послушал. Он пришел ко мне вчера вечером, в десятом часу, и требовал, чтобы я отдал ему мое окно, чтобы он мог разбить его и разбить остальные. Я отказал. Мы поссорились. Он кричал, что я сошел с ума, что я убиваю его своим безумием, что я уже не я и что он узнал это, когда посмотрел на меня в зеркале прихожей. А потом он ушел, хлопнув дверью. И через час — я узнал от городских — умер.

Гарденин чувствует, как внутри него закипает ярость — холодная, петербургская ярость, когда хочется ударить по столу кулаком, опрокинуть чернильницу и закричать на этого про-

фессора с его окнами и отражениями. Но он держит себя в руках, потому что только так он может пробиться сквозь этот бред.

— Профессор, — говорит он, стараясь, чтобы голос его звучал ровно, хотя в горле уже начинает саднить, — вы утверждаете, что барон умер, потому что его отражение вышло из зеркала и убило его? Вы утверждаете это как медицинский факт? У него нет ран, нет следов насилия, только сердечная недостаточность. Вы хотите сказать, что отражение нанесло ему удар — какой? Моральный?

— Я утверждаю, что его отражение перестало быть отражением, — спокойно отвечает Сомов, и в голосе его нет ни тени безумия, только абсолютная, ледяная убежденность. — И когда Эдуард понял это — он умер от страха. Не от того, что зеркало вышло к нему, зеркала не выходят, господин следователь, это примитивная метафора. А от того, что он увидел в нем себя. Настоящего. И понял, что настоящий он — уже не он. Что его место занято, а он сам — всего лишь отражение, которое забыло, что оно отражение. Это как проснуться и понять, что ты уже не спишь, но и не проснулся — что ты между, и там, в этой щели, не осталось никого.

Гарденин встает. Стул сзади со скрипом отодвигается, и этот звук врывается в тишину, как выстрел.

— Профессор, я пришел сюда, чтобы получить показания по факту смерти гражданина Эдуарда фон Клейста. — Он перегибается через стол, и пальцы его сжимают край столешницы. — Вы дадите мне показания по факту безумия. Я выпишу ордер на осмотр вашей квартиры и мастерской на Васильевском, на изъятие всех зеркал, стекол и прочих предметов, в которых, как вы говорите, живут отражения. Вы будете доставлены в полицейский участок для дальнейшего следствия. Это понятно?

Сомов тоже встает. Он ниже Гарденина на голову, тощий, сутулый, в домашнем сюртуке с пятнами на рукавах, но в нем чувствуется такая сила, такая тяжесть присутствия, что сыщик невольно делает шаг назад. Взгляд Сомова становится мягче, почти ласковым, но от этой ласки Гарденину хочется закрыть глаза.

— Вы не понимаете, Алексей Петрович, — говорит Сомов, и слова его падают медленно, как снег за окном. — Ордер не поможет. Зеркала не в этой квартире. Они в другом месте, которое не отмечено ни на одном плане города. И они не вещи, они сущности. Вы можете разбить стекло — да, можно, и я пробовал, Эдуард пробовал, но оно не разбивается обычным молотком, а если разбить его по-настоящему, если найти правильный угол и правильную силу, — вы не убьете то, что живет в нем. Вы только выпустите его в наш мир. И тогда не будет ни одного человека, который сможет остановить нас. Мы уже здесь. Мы — в вас.

Гарденин открывает рот, чтобы ответить резкостью, чтобы осадить этого профессора, вызвать городских, приказать обыскать каждую щель, — но в этот момент он бросает взгляд на зеркало, которое висит напротив, над камином, в простой дубовой раме. И видит в нем не себя. Он видит Сомова. Стоящего прямо за его спиной, вплотную, почти касаясь его плеча — хотя профессор сейчас перед ним, за столом, на расстоянии двух аршин. И в этом зеркальном Сомове — другая улыбка: широкая, до ушей, с мелкими, слишком острыми зубами, как у зверя, как у рыбы, выловленной из черной воды.

Гарденин замирает. Сердце его пропускает удар, и в груди что-то сжимается, обрывается, как струна. Он не дышит. Он смотрит на это отражение, и отражение смотрит на него — с той же задержкой, как в прихожей, но теперь задержка длиннее: целая секунда, вечность, в которой он может разглядеть каждую деталь — как свет ложится на это чужое лицо, как двигаются губы, как расширяются зрачки.

Гарденин моргает. Раз, два, три. Улыбка исчезает. В зеркале только он — бледный, с открытым ртом, с глазами, в которых он читает то, что не хотел бы видеть: панику. Настоящую, животную панику, от которой холодеют руки и немеет язык.

— Что вы со мной сделали? — шепчет он, и голос его уже не такой твердый, в нем прорезается хрип, кашель подступает к горлу, он давится словами.

— Я ничего, — отвечает Сомов, и в голосе его — странное, почти музыкальное спокойствие. — Вы сами себя испугались. Испугались того, что увидели. А страх, господин следователь, это и есть дверь. Открытая дверь. И я очень надеюсь, что она захлопнется, пока вы не вышли из себя окончательно.

Гарденин поворачивается на каблуках, не прощаясь, не отвечая. Он идет к двери, и ему кажется, что каждый шаг дается ему через силу, как будто он идет по дну реки. Он выходит из кабинета, почти выбегает, на ходу застегивая шинель — пуговицы не слушаются, скользят, одна отрывается и падает на пол, но он не останавливается поднять. На лестнице он сталкивается с камердинером, который стоит у перил и держит в руках подсвечник с догоревшей свечой. Старик смотрит на него с сочувствием, с тем же сочувствием, с каким смотрят на приговоренного.

— Вам плохо, господин следователь? — спрашивает старик, и голос его звучит ровно, как у старой машины. — Воды принести? Или может быть, валерьянки?

— Не надо, — говорит Гарденин, хватая воздух ртом, как рыба, выброшенная на лед. — Я... я в порядке.

Он выбегает на улицу, и мороз бьет его в лицо, как пощечина — резкая, отрезвляющая. Он останавливается у перил набережной, хватается за холодный чугун, и смотрит на черную воду Мойки, которая не замерзает даже в такие морозы, потому что ее подогревают сточные трубы, теплые и отвратительные. В воде отражается небо — серое, белое, мертвое, и тучи, и редкие звезды, которые начинают проступать сквозь вечерний сумрак.

И в этом отражении он видит себя. Только себя. Свое лицо, свои запавшие глаза, свое оцепеневшее выражение. Но улыбка на его отраженном лице — не его. Улыбка широкая, до ушей, с мелкими, острыми зубами, которые поблескивают в сумеречном свете. Та же самая улыбка, которую он видел в кабинете Сомова.

Он отшатывается от перил, отворачивается, закрывает глаза ладонями и стоит так, считая до десяти, как учил себя много лет назад. Он открывает глаза. Вода спокойна. Отражение — его собственное, обычное, бледное и усталое. Он переводит дыхание.

Он бежит прочь по набережной, не оглядываясь. Снег скрипит под его ногами, ветер бьет в спину, и в голове стучит одна мысль, такая же ледяная, как этот петербургский вечер: если зеркала врут, то кто на самом деле смотрит на него из воды? И кто сейчас идет по Мойке, если он сам уже стоит у перил и боится обернуться?

## Глава 2. Ссора в участке

В свой кабинет на Морской Гарденин возвращается к двум часам пополудни — когда петербургский день, еще час назад казавшийся безнадежным, уже начинает сдавать позиции сумеркам, и в окнах зажигаются первые тусклые огни, похожие на желтые зрачки больного зверя. Он поднимается по лестнице медленно, перехватывая перила влажной ладонью; ступени скрипят под ним, и каждый шаг отдается в груди глухим, пульсирующим толчком. В коридоре пахнет махоркой, кислыми щами и сыростью — тем особенным запахом полицейского участка, который въедается в одежду и не выветривается даже после стирки. Городовые, стоящие у дверей, отдают честь вяло, без усердия — они привыкли видеть его бледное лицо и дрожащие руки и давно перестали удивляться. Один из них, молодой, с рыжими усами, шепчет другому что-то, и Гарденин ловит краем уха слово «чахоточный», но не оборачивается. Он уже давно научился не слышать того, что говорят за спиной.

Он толкает дверь своего кабинета — и замирает на пороге. В кресле, продавленном до такой степени, что спинка его приняла форму его собственной спины, сидит полковник Осипов, начальник сыскной полиции. Человек с красным, обветренным лицом, заплывшими глазами навывкате и руками, которые привыкли не только подписывать бумаги, но и сжимать горло провинившимся подчиненным. Осипов развалился в кресле с той наглой, хозяйственной бесцеремонностью, какую позволяют себе только начальники с многолетним стажем и безнаказанностью. Он держит в одной руке рапорт Гарденина, а в другой — граненый стакан с мутной жидкостью, от которой по кабинету распространяется смесь запахов лука, водки и квашеной капусты. Полковник даже не поднимает глаз, когда Гарденин переступает порог; он продолжает водить пальцем по строчкам, шевеля губами, как ученик, разбирающий сложный текст.

— Что за чушь ты принес? — рявкает Осипов, наконец отрывая взгляд от бумаг, и голос его гремит в маленьком кабинете, заставляя вздрагивать стекла в шкафу. Он не здоровается, не спрашивает о самочувствии, не предлагает присесть — он атакует сразу, с места, как привык атаковать всех, кто переступает порог его кабинета, независимо от чина и заслуг. — Ты что, серьезно считаешь, что профессор Сомов — убийца? Или ты думаешь, он сошел с ума и надо отправить его в Кашенко на обследование? Это же не дело, Гарденин! Это истерика! Это бред, который не имеет никакого отношения к уголовному розыску!

Гарденин стоит у двери, не решаясь сделать шаг вперед. Он сжимает кулаки в карманах шинели, чувствуя, как ногти впиваются в ладони — единственная боль, которая помогает ему не закашляться, не схватиться за горло и не упасть. Пальцы его дрожат, но он старается, чтобы дрожь не передалась голосу.

— Он знал, что Клейст умрет, — говорит Гарденин, и каждое слово дается ему с усилием, как будто он выталкивает их из груди через силу. — Он сказал это мне в лицо, полковник. Он признался, что у него есть зеркала, которые... которые крадут души, которые забирают суть человека. Он говорил это без тени сомнения. Он был абсолютно убежден в том, что говорит. Я знаю, как это звучит, но...

— Ты знаешь, как это звучит? — Осипов вскакивает с кресла, и кресло сзади со скрипом отодвигается, ударяясь о стену. Лицо полковника наливается багровым оттенком — тем особенным, зловещим пурпуром, который появляется у людей с больным сердцем и крутым нравом. — Ты знаешь, как это звучит? Это звучит как бред сумасшедшего! Ты, Гарденин, — лучший сыщик в моей команде, это правда, я не отрицаю. Я помню, как ты раскрыл дело об убийстве на Лиговском, помню, как ты нашел ту девушку, которую искали три месяца. Но ты себя убиваешь! Ты спишь по три часа в сутки, ты ешь как птица — я знаю, я вижу, как ты худеешь каждую неделю, — ты кашляешь кровью, и ты приносишь мне дело о зеркалах, которые убивают людей! — Осипов переводит дыхание, его грудь ходит ходуном, и он хватает стакан,

залпом опрокидывает его содержимое в рот, не поморщившись. — Я не могу это подписать, Алексей! Я не могу отправить это в прокуратуру! Меня самого посадят за идиотизм, если я явлюсь к прокурору с докладом о том, что какой-то профессор убил архитектора с помощью зеркального отражения!

— Тогда отстрани меня от дела, — тихо говорит Гарденин, и в голосе его слышится усталость, такая глубокая и всепоглощающая, что она почти переходит в равнодушие. Он поднимает глаза на Осипова — и в его взгляде нет ни страха, ни вызова, только серая, выгоревшая решимость человека, которому уже нечего терять. — Отстрани, если считаешь, что я не справляюсь. Но я докажу, что Сомов связан с этой смертью. Докажу, даже если мне придется разбить все зеркала в Петербурге от Мойки до Фонтанки.

Осипов смотрит на него — и в этом взгляде, жестком, тяжелом, вдруг прорезается что-то человеческое. Жалость. Смешанная со злостью, раздражением, беспомощностью. Полковник садится обратно в кресло, и оно жалобно скрипит под его весом. Он трет лицо ладонями, потом опускает руки и говорит уже тише, почти устало:

— Ты не докажешь, Алексей. Ты не докажешь ничего, потому что через месяц тебя не будет в живых, если ты не перестанешь работать. У тебя чахотка — ты знаешь это? Ты знаешь, что это такое? Я знаю. — Голос его становится хриплым, почти шепотом. — Врач сказал мне прямо, когда я заходил к нему на прошлой неделе. Он сказал: «Алексей Петрович кашляет кровью, у него температура по вечерам, он теряет вес, он не ест, не спит. Если он не ляжет в больницу, если он не прекратит эту гонку, он умрет в ближайшие два месяца». Я знаю, что тебе этого не говорили, потому что ты бы не послушал. Но я говорю тебе сейчас. Ты должен лечь в больницу, Гарденин. Ты должен прекратить расследовать смерти старых чудаков, которые видят отражения и сходят с ума. Я даю тебе две недели отпуска. Принудительного. И не смей возражать.

— Нет, — говорит Гарденин, и это слово вырывается у него помимо воли — резкое, твердое, почти грубое. Он делает шаг вперед и упирается ладонями в стол, наклоняясь к Осипову так близко, что может видеть каждую пору на его красном, обветренном лице. — Я не уйду. Я должен закончить это дело. Ты не понимаешь, полковник. Я был там. Я смотрел в то зеркало. И я видел, как мое отражение улыбнулось мне с задержкой. Как оно улыбнулось чужой улыбкой. Это не бред, я знаю разницу. И Сомов не лгал — он был напуган. Я видел его глаза. Там был настоящий, животный страх. Ты можешь считать меня сумасшедшим, но я доверяю своим глазам больше, чем твоей заботе.

— Ты должен жить! — Осипов вскакивает снова, опрокидывая стакан, который падает на пол и разбивается, оставляя мокрое пятно на старом, истертом паркете. Его голос срывается на крик, на тот самый крик, которым он командует на плацу, но сейчас в этом крике слышится нечто иное — отчаяние. — Жить, а не убивать себя ради призраков! Ты — живой человек, а не машина для раскрытия преступлений! У тебя есть имя, у тебя есть прошлое, у тебя есть еще шанс, если ты ляжешь в больницу! И если ты не согласишься на отпуск, я сам подпишу твое отстранение! Выбирай!

В кабинете повисает тишина. Слышно только, как за окном скрипит снег под ногами прохожих, как где-то далеко лает собака, как тикают старые, хрипящие часы на стене. Гарденин смотрит на начальника. В его взгляде нет ни гнева, ни обиды — только усталость, серая, выжженная усталость, которая сидит в костях, в суставах, в каждой клетке его больного тела.

— Я выбираю дело, — говорит он, и голос его звучит ровно, почти спокойно. — Прости, полковник. Но я выбираю дело.

Он разворачивается и выходит из кабинета, не оглядываясь. За его спиной Осипов кричит что-то еще — угрозы, приказы, проклятия, — но Гарденин не слышит слов, только общий гул, как от разбитого колокола. Дверь захлопывается за ним с глухим стуком, и звук этот отрывает его от начальника, от его заботы, от его водки и его красного, отчаявшегося лица.

На лестнице Гарденин прислоняется к стене — к холодной, сырой штукатурке, на которой видны следы пальцев многих людей, проходивших здесь до него. Он закрывает глаза и чувствует, как мир плывет вокруг него: ступени уходят из-под ног, стены наклоняются, и пол кажется зыбким, как палуба корабля в шторм. Он делает глубокий вдох — и закашливается, сухо, надрывно, с металлическим привкусом во рту. Он вытирает губы платком и смотрит на ткань — на ней красное пятно, небольшое, но отчетливое, как клеймо.

Он знает, что поступает безумно. Он знает, что Осипов прав: отражение может подождать, больница может спасти, а расследование может подождать, пока его не заменят другим сыщиком. Но он не может остановиться. Потому что, когда он стоял у зеркала в квартире Сомова, он увидел не только чужую улыбку на своем лице. Он увидел в глазах Сомова — за стеклами его очков, за всей этой маской ученого чудака — ужас. Настоящий, животный ужас, который не может сыграть даже самый талантливый актер, даже самый искусный лжец. Сомов не лгал. Он действительно боялся. Он боялся того, что живет в его зеркалах. Но чего именно?

И Гарденин понимает, медленно, с холодной, ледяной ясностью, которая приходит только в моменты предельной усталости: он должен узнать правду. Даже если эта правда убьет его. Даже если она окажется хуже, чем он предполагает. Потому что если отражения действительно могут жить своей жизнью, если они действительно могут выходить из стекла и забирать чужую суть, — то тогда мир, который он знал, перестает существовать. Тогда все законы, которым он служил четырнадцать лет, рассыпаются в прах. И ему, Гарденину, умирающему, больному, дрожащему, придется принять это — или умереть в неведении.

Он открывает глаза, отрывается от стены и идет вниз, перешагивая через ступени. В голове у него уже зреет план: он поедет на Васильевский, в мастерскую Сомова, которая стоит на пустыре у Смоленского кладбища. Он найдет те самые зеркала. Он разобьет их, если нужно. И он узнает, что на самом деле случилось с бароном фон Клейстом, который вытянул руку к Спасителю, а увидел только собственное отражение.

Снаружи уже совсем стемнело, и фонари зажигаются один за другим, разбрасывая по снегу желтые, дрожащие круги. Гарденин останавливается на крыльце участка, застегивает шинель до самого горла, поднимает воротник и делает шаг в вечер. Ветер стих, и город замер в той тяжелой, давящей тишине, которая бывает только перед снегопадом. Небо висит низко, как крышка, и Гарденин почти слышит, как она скребется изнутри.

«Я выберу дело», — повторяет он про себя, и эти слова становятся его молитвой, его проклятием, его последней ниточкой, связывающей его с жизнью.

Он идет по набережной, и его шаги гулко раздаются в пустоте. Мимо него проходят редкие прохожие, но он никого не замечает. Он смотрит только вперед, туда, где за темной водой Мойки начинаются огни Васильевского, где стоит старая, заброшенная мастерская, где Сомов хранит свои окна в другую реальность. И в кармане его шинели лежит сломанная трость с серебряным набалдашником — та самая, которую он подобрал у водосточной трубы по пути к дому Сомова. Он не знает, зачем он ее взял. Но пальцы его сжимают ее через ткань, как талисман, как ключ, который пока не к чему подобрать.

Вдалеке слышен звон церковных колоколов — глухой, тяжелый, как похоронный. Гарденин ускоряет шаг. У него нет времени. Он знает это так же верно, как знает, что его тень на снегу кажется ему длиннее, чем должна быть. И что она, кажется, движется не совсем в ногу с ним.

### Глава 3. Бездна смотрит в тебя

Вечер того же дня застаёт Гарденина на набережной Лейтенанта Шмидта, где ветер с залива налетает порывами, жесткими и сырыми, как мокрая простыня, которой хлещут по лицу. Он идет уже больше часа, и ноги его гудят, а грудь саднит от каждого вдоха, но он не может остановиться. Он знает, что должен увидеть третье зеркало — то, что хранится у княгини Трубецкой, в ее особняке на Английской набережной, где стены помнят еще екатерининские времена, а паркет скрипит под ногами, как старые кости. Сомов сказал: три окна. Одно в мастерской на Васильевском, одно в кабинете Клейста, разбитое или целое — он не знает, и одно у княгини. Он должен понять, как они работают. Или как они убивают.

Он не взял с собой револьвера. Он не позвал городских, не оставил записки, не предупредил Осипова. Он просто идет, потому что внутри него горит то самое чувство, которое он привык называть интуицией, но которое сейчас больше похоже на одержимость. Каждый шаг дается ему с трудом, как будто он идет против течения, и морозный воздух врезается в легкие ледяными иглами. Он почти не замечает прохожих, почти не слышит скрипа полозьев по снегу — он слышит только свой пульс, гулкий и неровный, и тот тихий шепот, который звучит в голове: "Ты должен увидеть. Ты должен понять".

Особняк княгини Трубецкой стоит на углу, закованный в чугунную решетку с золочеными навершиями, которые тускло поблескивают в свете редких фонарей. Окна первого этажа темны, но на втором горит свеча — одинокий, дрожащий огонек, похожий на глаз, который следит за приближающимся гостем. Гарденин подходит к парадной, и дверь открывается раньше, чем он успевает позвонить. На пороге стоит сама княгиня — в черном платье до пола, с тяжелой шелковой вуалью, закрывающей лицо до самого подбородка. Она не удивлена его появлением; она ждет его, как ждут почтальона с давно обещанным письмом.

— Я знала, что вы придете, — говорит она, и голос ее звучит глухо, как из-под воды. — Сомов сказал мне. Он сказал, что вы увидели. Он сказал, что вы теперь тоже — один из нас.

— Я ничей, — резко отвечает Гарденин, и голос его срывается на хрип, потому что горло пересохло, а в груди снова начинает ныть. — Я пришел посмотреть на зеркало. На то, которое вы храните. И я хочу увидеть его своими глазами, без всяких вуалей и без ваших загадок.

— Оно в будуаре, — говорит княгиня и, не оборачиваясь, ведет его наверх по винтовой лестнице, обитой темно-зеленым сукном. Ступени скрипят под ее ногами с такой же жалобной нотой, как и под его собственными. В доме пахнет воском, увядшими розами и еще чем-то — сладковатым, приторным, похожим на запах тления. Гарденин идет за ней, и ему кажется, что каждый шаг приближает его к пропасти.

В будуаре темно, и только тонкая полоска света просачивается из-за тяжелых портьер, которые задернуты так плотно, что не пропускают даже уличных фонарей. Княгиня зажигает свечи — одну за другой, медленно, с церемонной торжественностью, как будто совершает обряд. Свет разгорается, выхватывая из полумрака очертания мебели: низкий диван, обитый выцветшим бархатом, столик с фарфоровой вазой, в которой стоят мертвые, высохшие стебли, и — в центре комнаты, на возвышении, как алтарь, — напольное зеркало в тяжелой черной раме, украшенной теми же геометрическими узорами, что и в прихожей Сомова.

Гарденин подходит к нему, и сердце его колотится где-то в горле, мешая дышать. Он смотрит на свое отражение — обычное, бледное, с тенями под глазами, с провалившимися щеками, которые придают ему вид человека, давно простившегося с жизнью. Он поднимает руку к своему лицу — отражение повторяет жест, с той же едва заметной задержкой, которую он уже заметил утром, но сейчас задержка, кажется, чуть длиннее, чуть ощутимее, как будто стекло думает, прежде чем ответить. Он делает шаг вправо — отражение следует, но не до конца, останавливаясь на полкорпуса раньше, чем он сам.

— Здесь нет ничего, — говорит он, и голос его звучит глухо, как в пустом колодце. — Ничего необычного. Это просто зеркало.

— Вы смотрите, но не видите, — шепчет княгиня, стоя за его спиной. Ее голос становится мягче, почти ласковым, но в этой ласке слышится что-то змеиное, холодное. — Вы смотрите на поверхность, а не в глубину. Попробуйте посмотреть не на себя, а сквозь себя. Как будто вы хотите увидеть того, кто стоит за вами. За вашим отражением. За этим стеклом.

Гарденин закрывает глаза на мгновение — сердце стучит, в висках пульсирует, и он чувствует, как холодный пот выступает на лбу, несмотря на духоту будуара. Он делает глубокий вдох, стараясь успокоить дыхание, и открывает глаза. Он смотрит в зеркало, стараясь не видеть свое лицо, а то, что находится за ним, в глубине, за стеклом, за темной поверхностью, которая кажется непроницаемой. И вдруг он замечает: в зеркале, в глубине, за его собственным отражением, стоит кто-то еще. Маленькая фигура в черном платье, с вуалью на лице, с руками, сложенными на груди, как у покойницы. Княгиня.

Но она стоит позади него. Он оборачивается — позади никого. Княгиня стоит рядом с ним, плечом к плечу, и тоже смотрит в зеркало. Но в отражении она находится на три шага дальше, чем в реальности, как будто стекло сместило ее назад, вглубь, в другое пространство.

— Вы видите ее? — спрашивает княгиня, и голос ее дрожит — впервые за весь вечер, впервые с той минуты, как она открыла дверь. — Там, в глубине. Она идет за мной уже две недели. Каждую ночь я просыпаюсь и вижу ее у изголовья. Каждое утро я подхожу к зеркалу и вижу, что она стоит ближе, чем накануне. Она — не я. Она — мое отражение, но она больше не повторяет мои движения. Она живет своей жизнью. И она хочет занять мое место.

Гарденин смотрит в зеркало и видит, как фигура в черном платье медленно поднимает руку — тонкую, бледную, с длинными пальцами, — и касается плеча его отражения. Прикосновение легкое, почти невесомое, но в тот же миг он чувствует, как кто-то касается его плеча сзади — тепло, явственно, пальцами, которые оставляют след на ткани шинели. Он оборачивается с резкостью, от которой у него хрустит шея, — но за его спиной никого. Только пустой будуар, только мерцающие свечи, только тени, которые пляшут на стенах, как призраки. Но касание было реальным. Он чувствует его до сих пор — там, на левом плече, как клеймо, как знак.

— Она уже здесь, — шепчет княгиня, и голос ее становится чужим, более глубоким, с легким, едва уловимым акцентом. — Она выходит. Она будет жить за меня. А я уйду. Как Эдуард. Как Сомов. Мы все уйдем, один за другим, и нас заменят те, кто живет за стеклом. Вы не понимаете, господин следователь. Вы думаете, что это безумие. Но это реальность. Самая настоящая, самая жестокая реальность, которую я когда-либо знала.

Гарденин чувствует, как холод поднимается по его позвоночнику, как ледяная рука сжимает его сердце и заставляет его биться реже, медленнее, с перебойми. Он хочет уйти, убежать из этого дома, из этого будуара, из этого города, который кишит отражениями, — но ноги не слушаются. Он стоит как вкопанный и смотрит в зеркало, в глубину, где стоит другая княгиня — и улыбается. Улыбкой, которую он уже видел сегодня. Улыбкой Сомова. Широкой, до ушей, с мелкими, слишком острыми зубами.

— Она не ваше отражение, — шепчет Гарденин, и голос его срывается, превращаясь в хриплый, надрывный шепот. — Она не ваше. Она — отражение Сомова. Он записал себя на ваше зеркало. Он живет в нем. Он хочет выйти через вас. Он использует вас как дверь.

— Мы все хотим выйти, — говорит княгиня, но теперь ее голос окончательно меняется: он становится глубже, мужским, с той же металлической нотой, что и у профессора. — Но только один из нас сможет. Кто — покажет время.

Гарденин отшатывается от зеркала, задевает плечом подсвечник, который падает на пол с глухим звоном, свеча гаснет, оставляя в воздухе тонкую струйку дыма. Он падает на колени,

смотрит вверх, на княгиню, которая возвышается над ним, как статуя, как изваяние, как черный монумент.

— Кто вы? — шепчет он, и голос его дрожит, как лист на ветру. — Кто вы на самом деле?

Она медленно, с церемонной торжественностью, поднимает вуаль. Под ней — лицо княгини Трубецкой: правильные черты, тонкая кожа, аристократическая бледность, высокие скулы. Но глаза — не ее. Глаза — серые, с желтым отливом, как у Сомова, как у больного животного. И улыбка — та самая, которую он видел в зеркале, широкая, до ушей, с мелкими, острыми зубами.

— Я — та, которая останется, — отвечает она, и голос ее — это уже не ее голос, это голос Сомова, густой и звонкий, как колокол. — А вы — тот, который уйдет. Но не сегодня. Сегодня вы еще нужны мне. Вы нужны, чтобы разбить зеркала. Чтобы освободить меня. А когда вы сделаете это — я займу ваше место. И вы станете никем. Вы станете тенью, которая бродит по пустым комнатам и никого не находит.

Гарденин вскакивает на ноги, резко, почти падая, хватается за стену, чтобы не упасть, и бежит к двери. Он сбегает по винтовой лестнице, перескакивая через три ступени, чуть не ломая ногу на последнем пролете, и вылетает на улицу, в холод, в ветер, в спасительный мрак. Он бежит по набережной, не разбирая дороги, и ветер бьет в лицо, разрывает дыхание, забивает снег в глаза и рот. Он бежит, потому что знает: за ним следят. Кто-то смотрит на него из каждого окна, из каждой лужи, из каждого куска стекла, из каждой витрины, которая отражает свет фонарей. Он бежит, пока ноги не отказывают, пока в груди не вспыхивает острая, режущая боль, и он останавливается у моста через канавку, хватается за чугунные перила, сгибается пополам и кашляет — долго, мучительно, надрывно, с металлическим привкусом во рту. Он вытирает губы платком и видит на ткани красное пятно — большое, яркое, расплзающееся, как клякса на белой бумаге.

Он поднимает голову и смотрит в черную воду канавки, которая не замерзает даже в такой мороз. И в отражении — в этой темной, подвижной поверхности — он видит не себя. Он видит Сомова, который стоит за его спиной, положив руку на плечо, и улыбается той же улыбкой, той же широкой, звериной улыбкой, которую он видел в будуаре, в прихожей, в воде Мойки. Сомов стоит прямо за ним, касается его плеча — того самого места, которого коснулось отражение княгини, — и его пальцы холодны, как лед.

Гарденин закрывает глаза. Сжимает веки так сильно, что перед глазами вспыхивают искры, и считает до десяти, как учил себя когда-то, в другую жизнь. Когда он открывает их снова — вода пуста. Только его собственное лицо, бледное, искаженное болью, с красными пятнами на губах.

Но он знает: Сомов не ушел. Сомов просто ждет. Ждет, когда Гарденин закроет глаза навсегда, когда его легкие откажут, когда сердце остановится, и он станет пустым, как выеденное яйцо. И тогда Сомов войдет в него, как входят в открытую дверь, и займет его место, и будет ходить по этому городу в его теле, дышать его легкими, говорить его голосом.

Гарденин стоит у перил, и ветер треплет его волосы, забивается под воротник шинели, и снег падает на его лицо, тает на коже, смешиваясь с потом и кровью. Он смотрит на воду, которая отражает небо — черное, беззвездное, бесконечное, — и вдруг понимает, что смотрит в бездну. Бездну, которая смотрит в него. И в этой бездне он видит не только свое отражение, но и все те отражения, которые когда-либо жили в стекле, в воде, в глазах других людей. Они смотрят на него, и он чувствует, как они тянутся к нему, как хотят войти в него, занять его место, сделать его одним из них.

Он отрывается от перил, делает шаг назад, потом еще один, потом разворачивается и идет прочь — быстрым, почти бегущим шагом. Он не знает, куда он идет. Он знает только, что должен найти ответ. Что должен понять, как остановить это. Как разбить зеркала, не выпуская того, что в них живет. Как спасти себя, прежде чем станет слишком поздно.

Но где-то глубоко внутри, в той части души, которую он не показывал никому, он знает: уже слишком поздно. Сомов уже внутри него. Он видел это в воде. Он видел это в будуаре. Он видел это в прихожей на Мойке. И теперь, когда он идет по пустынной набережной, он чувствует, как чей-то голос шепчет у него в голове: "Ты уже не один. Мы идем с тобой. Мы всегда идем с тобой".

Он закрывает глаза на мгновение, и когда открывает их снова — он видит свое отражение в темном окне проезжающего экипажа, и отражение улыбается ему чужой улыбкой, широкой, до ушей, с мелкими, острыми зубами.

## Глава 4. Анатомия отражения

Он не спит третью ночь. Третью ночь подряд Гарденин лежит на продавленном диване в своем кабинете на Морской, укрывшись шинелью вместо одеяла, и смотрит в темный, сырой потолок, с которого свисают длинные, пыльные паутины, похожие на паучьи сети, сотканые из времени. Сон не приходит — вместо него приходит тяжелая, вязкая дремота, в которой он слышит голоса: Сомова, княгини, Клейста, — и все они говорят одно и то же, на разных языках, но с одинаковой интонацией: "Ты уже один из нас. Ты уже не один". Он просыпается с криком, садится, хватая воздух ртом, и сердце его колотится так сильно, что кажется, вот-вот пробьет ребра. В углах комнаты громоздятся папки с нераскрытыми делами — убийство ростовщика на Сенной, кража бриллиантов у баронессы Шталь, подлог векселей в купеческом банке. Все это теперь кажется ему далеким, почти нереальным, как сны другого человека, как чужое прошлое, которое он случайно присвоил. Есть только одно дело — дело о зеркалах, о мертвецах с чужими улыбками, о профессоре, который застрелился, глядя в стекло, и о том, как он сам, Гарденин, видел в отражении лицо Сомова, когда тот стоял перед ним живой и холодный, как статуя.

Он садится на диване, трет лицо ладонями и чувствует под пальцами влажную, липкую кожу — он весь в поту, хотя в кабинете холодно, как в леднике, и на окнах уже выросли ледяные узоры, похожие на пальцы, которые скребутся снаружи, пытаются войти. Из-за окна доносятся звон колоколов Исаакиевского собора — полночь, двенадцать тяжелых, медных ударов, которые растекаются по городу, как круги по воде. Петербург спит, укрытый снегом до самых крыш, и только ветер воет в дымоходах, как живое существо, как душа, которую не приняли ни в рай, ни в ад, ни даже в чистилище, оставив ее скитаться между мирами, между стеклом и реальностью.

Гарденин встает, подходит к столу, зажигает керосиновую лампу. Свет падает желтым, дрожащим кругом на разложенные бумаги, на чернильницу с засохшими следами, на дневник Сомова — толстую тетрадь в потертом кожаном переплете, которую он украл из квартиры покойного прошлой ночью, когда камердинер спал, а городские дежурили внизу. Он открывает дневник на последней странице и перечитывает запись, уже знакомую до буквы, до запятой, до дрожащего нажима пера:

«Клейст увидел его в коридоре сегодня утром. Я не спал уже трое суток, я наблюдал, я ждал. Он шел по коридору, и вдруг остановился перед стеной, где нет зеркала, только гладкая штукатурка, и сказал: "Он здесь. Я вижу его. Он смотрит на меня из стены". Я подошел, я встал рядом, но ничего не увидел. Тогда я понял — он видит не стену. Он видит то, что за ней. Я предупреждал его, что чертеж "Vita Reflexa" создает не только симметрию стен, но и симметрию наблюдателя. Мы с ним построили три зеркала, три окна в иную реальность. Одно в его мастерской на Лиговском, второе в моей на Васильевском, третье — в доме Трубецкой. Я думал, что мы управляем процессом. Теперь я знаю — процесс управляет нами. Зеркала не отражают, как я думал. Они удерживают. Они собирают и хранят. И в моем зеркале удерживается его испуг, а в его — моя вина. Завтра я их разобью. Завтра я умру за двоих, чтобы жил один. Если это не конец — значит, я уже не я. И тогда всё, что я делал, было ошибкой».

Гарденин перечитывает последнюю фразу снова и снова, и каждый раз она звучит по-новому, открываясь новыми гранями: «Если это не конец — значит, я уже не я». Он смотрит на эти слова, и в них — ключ. Сомов собирался разбить зеркала, но не успел? Или успел, но что-то пошло не так? Или он сам стал зеркалом — и в него вселилось отражение, которое заставило его застрелиться? Или же он застрелился для того, чтобы доказать, что он — еще он, что он способен на поступок, который отсечет эту связь?

Гарденин закрывает дневник, кладет ладонь на обложку и чувствует, как кожа переплета холодит пальцы. Он вспоминает свою ссору с Сомовым — ту первую ссору в кабинете на Мойке, когда профессор смотрел на него поверх очков пристально, изучающе, как врач на пациента, как скульптор на еще необработанный камень. Он говорил о «внутреннем слепце», о том, что Гарденин «не видит изнанки мира», что он «боится смотреть в глубину, потому что в глубине есть то, что разрушит его веру в факты». Тогда это казалось бредом, старческой мистикой, уходом от ответственности. Теперь — теперь он не уверен. Потому что, когда он стоял у зеркала в кабинете Сомова, он видел нечто, чего не должно было быть, что не поддавалось описанию ни в одном учебнике криминалистики, ни в одном протоколе. Он видел чужую улыбку на своем лице. Видел, как его отражение задержалось на секунду дольше, чем нужно, чтобы просто скопировать движение. Или ему просто показалось? Или он сам уже начал сходиться с ума, как те, кого он расследует, как те, чьи трупы он осматривает в моргах с методичным, холодным вниманием, не позволяя себе сострадания?

Он резко закрывает дневник и отодвигает его от себя, как будто тот может обжечь пальцы, оставить след на коже, как те отражения, которые касались его плеча. Он должен проверить факты. Только факты. Без мистики, без страхов, без зеркал и без улыбок с мелкими зубами. Он должен найти третье зеркало — у княгини Трубецкой. И если там ничего нет, если это просто кусок стекла с ртутной амальгамой, запыленный и старый, если он посмотрит в него и увидит только себя — бледного, больного, но себя, без задержек и искажений, — тогда он закроет дело как двойное самоубийство на почве психического расстройства, как трагедию двух ученых, которые сошли с ума от собственных амбиций, и забудет эту историю, как страшный сон, который не имеет права на существование. Но если там что-то есть — если он увидит, то же, что видел утром, — тогда он будет знать правду. Какой бы страшной она ни была.

Он одевается, натягивает шинель поверх сюртука, застегивает пуговицы дрожащими пальцами, которые плохо слушаются, и выходит из кабинета. Ночь — декабрьская, звездная, с морозом, который хватает за горло, как только он выходит на крыльцо. Снег скрипит под ногами, как стеклянная крошка, как битое зеркало, и каждый шаг отдается в грудной клетке тупой, ноющей болью. Гарденин идет пешком к Английской набережной — извозчиков нет в такую пору, или есть, но он не хочет ни с кем разговаривать, не хочет видеть чужих лиц, не хочет, чтобы кто-то смотрел на него из темноты экипажа. Он идет один, и его тень на снегу кажется ему длиннее, чем должна быть, и он почти уверен, что она движется с едва заметной задержкой, как в зеркале.

У дома княгини Трубецкой он останавливается. Особняк выглядит темным, спящим, с окнами, завешанными тяжелыми шторами, ни одного огня, ни одной свечи. Но Гарденин знает, что внутри кто-то есть — княгиня не спит, она ждет его. Он чувствует это так же верно, как чувствует приближение грозы по ломоте в костях, по тому металлическому привкусу во рту, который появляется перед грозой. Он подходит к парадной, берется за бронзовый набалдашник звонка, и дверь открывается до того, как он успевает дернуть ручку.

На пороге стоит старый лакей — тот же, что и днем, с лицом, похожим на восковую маску, с глазами, которые не отражают свет. Он не спрашивает, кто пришел, не смотрит на удостоверение, не произносит ни слова — просто отступает в сторону, пропуская Гарденина в прихожую, и жест его кажется механическим, заученным, как у куклы, которую завели на ночь. Внутри тепло, пахнет воском и сухими травами — тем же запахом, что и в доме Сомова, но здесь он гуще, тяжелее, как будто впитался в стены за годы ожидания. Гарденин снимает шинель, вешает на вешалку — ту самую, низкую, на уровне его плеча, — и слышит голос княгини, который доносится с верхней лестницы:

— Проходите, Алексей Петрович. Я ждала вас. Я знала, что вы придете сегодня. Сомов сказал мне, что вы придете.

Она стоит на верхней площадке, в черном домашнем платье с кружевным воротником, без вуали. Ее лицо — бледное, как снег за окном, с темными, провалившимися глазами, с синевой под ними, которая говорит о бессоннице, о страхе, о том, что она не смыкала глаз уже много ночей. Она не улыбается, но в ее взгляде — странная, почти материнская жалость, от которой Гарденину становится не по себе, как будто он не сыщик, не взрослый мужчина, а ребенок, которого пожалели за то, что он не знает правды.

Он поднимается по лестнице, и каждый шаг дается ему с трудом — не от усталости, а от того, что воздух в доме кажется тяжелым, вязким, как сироп, как вода перед заморозками, как та вода в Мойке, которая отражала небо и чужие лица. Он входит в будуар вслед за княгиней, и здесь, в полутьме, при свете трех догорающих свечей, стоит то самое зеркало — в черной раме, с чуть пожелтевшей амальгамой, с потертостями по краям, отражающее неверный, колеблющийся свет, как будто стекло само дышит.

— Смотрите, — говорит княгиня, становясь рядом с ним, на расстоянии одного шага, и ее голос звучит ровно, но в нем есть дрожь, которую невозможно скрыть. — Смотрите долго. Смотрите пристально, как смотрят на дно колодца. И вы увидите то, что вижу я.

Гарденин смотрит. Сначала он видит только себя — бледного, с землистым лицом, с тенью многодневной щетины на щеках, с глазами, которые ввалились так глубоко, что почти не видно зрачков. Потом он замечает, что на его отражении — странное пятно, серое, расплывчатое, в районе левого плеча, похожее на дым или на пар, который поднимается от горячего тела на холоде. Он поворачивает голову — в реальности ничего нет, только темный воздух и тени от свечей. Он смотрит назад, в зеркало — пятно есть. И оно движется, как живое, медленно, плавно сползая по плечу, к спине, к затылку, как будто кто-то невидимый пробирается к нему из-за стекла.

— Что это? — шепчет он, и голос его срывается, становится тонким, почти детским.

— Это они, — отвечает княгиня, и голос ее становится глубже, торжественнее, как у жрицы, которая говорит о своих богах. — Сомов, Клейст, те, кто смотрели слишком долго. Они не уходят, когда мы отводим взгляд. Они остаются. Они ждут. И когда мы смотрим снова — они приближаются. Это не призраки, Алексей Петрович, не галлюцинации. Это — их суть, их страх, их надежда. И они хотят выйти.

Гарденин хочет отвести глаза, но не может. Он смотрит, как серое пятно на его плече обретает форму — форму головы, плеч, руки, пальцев, которые медленно, с мучительной неторопливостью, поднимаются к его лицу. Маленького человека, который стоит у него за спиной и смотрит на него из-за плеча, как смотрят из темноты, когда не знают, что их видят. Человека, который — он знает это — улыбается. Улыбкой с мелкими зубами.

— Отойдите, — говорит он княгине, не сводя глаз с зеркала, и голос его становится тверже, хотя внутри него все дрожит. — Отойдите, я хочу видеть, кто это.

Она отступает на шаг, и в зеркале отражается только он — и тот, другой. Гарденин поворачивается резко, с хрустом в шее, — никого. Пустой будуар, свечи, тишина, только тени пляшут по стенам. Он снова смотрит в зеркало — и видит, как фигура за его спиной медленно поднимает руку и касается его плеча. Легко, почти невесомо, как перышко, как прикосновение осеннего листа к стеклу.

И в тот же миг Гарденин чувствует на своем плече — живое, теплое прикосновение. Пальцы. Настоящие, человеческие пальцы, которые сжимают ткань его сюртука, оставляя след на коже под ней.

Он вскрикивает — коротко, сдавленно, как животное, попавшее в капкан, — и отшатывается от зеркала, задевая плечом колонну. Свечи вздрагивают, одна падает, гаснет в полете, оставляя в воздухе тонкую струйку дыма. Тени пляшут по стенам, как призраки, как те, кто уже вышел и ждет своей очереди. Княгиня смотрит на него с ужасом и любопытством одновременно, и в ее взгляде — не только страх, но и что-то похожее на облегчение.

— Вы почувствовали, — говорит она, и голос ее дрожит, срывается на шепот. — Теперь вы знаете. Они могут касаться нас. Не только смотреть, не только ждать. Касаться. И скоро они научатся брать. Они научатся забирать то, что им нужно.

Гарденин прижимает руку к плечу — там, где было прикосновение, еще чувствуется тепло, но оно уже начинает уходить, как след от горячего пальца на холодной коже, как память о том, чего не должно было быть. Он смотрит на княгиню, и в его глазах — не страх, а злость. Злость на себя, на нее, на Сомова, на Клейста, на всех, кто впустил эту тварь в мир, кто не разбил зеркало, когда еще мог. Злость, которая кипит в нем, как кипит кровь в больных легких.

— Почему вы не разбили его? — кричит он, и голос его срывается на хрип, на тот самый кашель, который душит его по ночам. — Почему вы не разбили это зеркало, когда поняли, что оно опасно? Почему вы не ударили по стеклу, не разбили вдребезги, не выбросили осколки в Неву, пока оно не затянуло вас, как болото?

— Потому что, если я разобью его, она умрет, — говорит княгиня, и впервые в ее голосе появляется истерика, та самая нота, которая срывается в крик, когда человек говорит правду. — Она — та, что стоит за моим плечом. Она — не зло, Алексей Петрович! Она — часть меня, которую я потеряла. Она — мой страх, моя боль, моя ненависть к себе, моя тоска, моя бессонница. Если я убью ее — я убью часть себя, самую темную, самую настоящую. И я не хочу умирать! Я не хочу быть целой, если это означает быть пустой!

Гарденин смотрит на нее, и в его душе — противоречие, которое разрывает его на части. Он понимает ее. Он сам носит в себе страх, ненависть, боль, ту темную сущность, которая шепчет ему по ночам, что он не достоин жизни, что он умрет в этом кабинете на Морской, один, без сожаления, без слез. Он сам иногда хочет убить эту часть себя, вырвать ее с корнем, как больной зуб. Но он знает: если он позволит ей жить, если он позволит ей выйти из зеркала и занять его место, — она убьет его. Не метафорически, не символически. Буквально. Физически. И займет его тело, как заняла тело Сомова.

— Я разобью его, — говорит он тихо, почти беззвучно, но в голосе его — сталь, та самая сталь, которую он тренировал четырнадцать лет на допросах и очных ставках. — Я разобью это зеркало, чтобы освободить вас. Даже если вы не хотите освободиться. Даже если вы считаете, что боль — это часть вас.

Он подходит к зеркалу, заносит кулак — правую руку, в которой еще осталась сила, — чтобы ударить по стеклу, разбить его в пух и прах, освободить дом от этой напасти. Но в тот момент, когда его рука почти касается поверхности, когда костяшки пальцев уже готовы встретиться со стеклом, он видит в отражении — не серое пятно, не маленькую фигуру, а Сомова. Живого, улыбающегося Сомова, который стоит прямо за его спиной, вплотную, и протягивает руку к его руке, синхронно, зеркально, как эхо.

Гарденин замирает. Он не может ударить. Он смотрит на Сомова, и тот смотрит на него, и в глазах Сомова — не зло, не ненависть, не торжество. А просьба. Просьба о помощи, такая отчаянная, такая человеческая, что у Гарденина перехватывает дыхание.

— Не бей, — шепчет Сомов из зеркала, и его губы двигаются, хотя голоса нет — только беззвучное движение губ, которое Гарденин читает, как читает по губам глухих. — Не бей, Алексей. Ты убьешь меня. А я хочу жить. Я хочу выйти. Я хочу быть с тобой. Мы можем быть вместе, ты и я, в одном теле, в одной душе. Я помогу тебе. Я спасу тебя от болезни. Я дам тебе силу, которой у тебя нет.

Гарденин отдергивает руку, как от огня, как от раскаленного железа. Он отступает к стене, прижимается к ней спиной, чувствуя, как холод штукатурки проникает сквозь сюртук, и смотрит на княгиню с ужасом, который он не может скрыть:

— Он говорит со мной. Он просит, чтобы я не убивал его. Он хочет выйти. Он хочет занять меня.

Княгиня кивает, и в ее глазах — слезы, которые катятся по бледным щекам, оставляя влажные дорожки, как следы от пальцев.

— Он хочет выйти, Алексей. И он выйдет. Не сегодня, но выйдет. Потому что все, кто смотрит в эти зеркала, становятся дверями. И когда двери открываются — никто не может их закрыть. Вы уже дверь. Вы открылись, когда посмотрели в первое зеркало. И теперь, даже если вы разобьете его, он останется в вас. Он будет ждать. Он будет ждать, пока вы устанете. Пока вы закроете глаза навсегда.

Гарденин закрывает глаза. Он слышит, как ветер бьет в окна, как воеет в трубе, как тикают старые часы на камине — медленно, тяжело, с каждым ударом приближая его к чему-то неизбежному. Он знает, что должен уйти. Он знает, что должен забыть это место, забыть княгиню, забыть зеркала, забыть Сомова, забыть Клейста, забыть всех, кто живет в отражениях. Но он знает и другое: он не сможет. Потому что Сомов уже внутри него, и он не уйдет, пока Гарденин не умрет. Или пока Гарденин не согласится стать его домом.

Он открывает глаза, поворачивается и выходит из будуара, не оглядываясь. Он спускается по лестнице, проходит мимо лакея, который стоит у двери как изваяние, выходит на улицу, в мороз, в ночь, в пустоту. Он идет по набережной, и снег скрипит под ногами, и в каждом отражении, в каждой луже, в каждом стекле он видит лицо Сомова, которое улыбается ему, широко, до ушей, с мелкими, острыми зубами.

Он останавливается у перил, смотрит на черную воду и видит в ней свое отражение. Свое, но с чужими глазами — серыми, с желтым отливом. Свои руки, но пальцы его дрожат, как у чужого человека.

"Ты уже не один", — шепчет голос у него в голове. — "Мы идем с тобой. Мы всегда идем с тобой. И когда ты устанешь — мы войдем".

Гарденин прижимает ладонь к груди, туда, где бьется сердце, и чувствует, как под его ладонью — два удара. Один — его собственный, слабый, неровный. И второй — чужой, сильный, ровный, как у здорового человека. Как у Сомова. И этот второй удар — громче. Он заглушает его собственное сердце, как гром заглушает шепот.

Он стоит у перил и смотрит в воду, в черную, неподвижную воду, которая отражает небо без звезд. И в этом отражении он видит себя, но не узнает себя. И он знает, что это только начало. Что самое страшное еще впереди. Что он должен найти способ разбить зеркала, не выпуская того, что в них живет. Что он должен найти способ спасти себя, прежде чем станет слишком поздно.

Но где-то глубоко внутри, в той части души, которую он не показывал никому, он знает: уже слишком поздно. Сомов уже внутри. И он не уйдет. Он ждал дверь слишком долго, чтобы отказаться от нее сейчас.

## Глава 5. Вода и стекло

Утро приходит серое, как пыльная тряпка, которой кто-то небрежно протер город, оставив разводы на небе и мокрые следы на крышах. Свет просачивается сквозь плотные шторы кухни на Морской, падает на стол бледными, дрожащими прямоугольниками, выхватывая из полумрака чашку с остывшим чаем, крошки хлеба и руки Гарденина — руки, которые уже не дрожат, а лежат неподвижно, как две мертвые птицы, прижатые к столу. Он сидит в старой фланелевой рубашке, с расстегнутым воротом, под которым угадываются ключицы, выступающие слишком остро, как у скелета. Он не спал — он просто лежал с открытыми глазами, слушая свое дыхание и чужое дыхание, которое теперь всегда звучало у него в груди вторым, более ровным ритмом.

Напротив него сидит Надежда Петровна, его жена, женщина, лицо которой когда-то было круглым и румяным, а теперь осунулось и побледнело, как у тех, кто долго боится и не знает, как назвать свой страх. Она молчит уже час — с тех пор, как он встал из-за стола после первой ложки каши, которую так и не съел, — и только смотрит на него, как смотрят на больного ребенка, с той смесью нежности и ужаса, которая появляется, когда понимаешь, что любимый человек уходит, и ты не можешь его догнать. Она молчит, потому что боится слов — боится, что произнесет их вслух, и они станут правдой.

— Алексей, — наконец говорит она, и голос ее дрожит, как струна, которую перетянули слишком сильно. — Ты должен сказать мне, что происходит. Ты пропадаешь ночами, ты возвращаешься с мокрыми руками, с кровью на губах, с глазами, в которых я не узнаю тебя. Ты не ешь, ты не спишь, ты говоришь во сне. На немецком языке. Ты никогда не знал немецкого, Алеша. Мы вместе учили французский, помнишь? Но немецкий...

Гарденин не поднимает глаз от чашки. Он смотрит на пар, который уже почти не поднимается над остывшей мятой, и видит в его волнистых линиях лица — серые, расплывчатые, с улыбками, которые сжимают его горло, как удавка. Он отводит взгляд, но лица остаются на внутренней стороне век, как отпечатки на сетчатке.

— Я расследую дело, Надя. Сложное дело. Странное. Там много всего, что не поддается объяснению. Мне нужно время.

— Странностей? — она встает из-за стола, и стул сзади со скрипом отодвигается, ударяясь о стену. Она подходит к нему, и ее рука, теплая и сухая, ложится на его плечо — на то самое плечо, которого коснулось отражение. — Ты кричал ночью, Алексей. Ты кричал: «Отпусти меня! Отпусти меня!» Я слышала. Я проснулась и слышала твой голос, но он был чужим, как будто кто-то другой говорил твоими губами. Кто должен тебя отпустить? Кто тебя держит, Алеша? Скажи мне. Я твоя жена. Я имею право знать.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.